

Часть первая

ПРОСТРАНСТВО

Я говорю о камне, говорю о солнце; я не воспринимаю их сейчас своими чувствами, но образы их, конечно, тут, в моей памяти. Я называю телесную боль — а ее у меня нет, ничто ведь не болит... Я называю числа, с помощью которых мы ведем счет, — вот они в памяти моей: не образы их, а они сами.

Августин

« 1 »

Конец октября выдался холодным и сумеречным. «Высота волны по востоку Финского залива», — бесцветным голосом проговаривало радио, а ветер изо дня в день все больше набирал силу, наполнялся промозглой влагой, рвался под одежду, шелестел по улицам, звенел мусорными баками и водосточными трубами. Постаревшие листья, еще недавно с шорохом катившиеся по земле, размокли и все крепче прилипали к слякоти городских газонов и серо-коричневой набухающей водой земле. Серое, с какими-то бурыми пятнами небо опускалось все ниже, а речную, чуть пенящуюся воду несло на запад, под высокие мосты, мимо широких набережных и сквозь дельту ветвящихся протоков. Как-то быстро, почти скачком, дни наполнились мглой и стали заметно короче, а одежда — длиннее

и плотнее, постепенно превращаясь в зимнюю, утолщаясь шерстью и мехом. И все же это была еще осень, осень со всеми ее странными несоответствиями — и последние короткие юбки соседствовали в ней с тяжелыми меховыми шапками. Утром было темно, и сумерки наступали еще днем. А с запада над бурной водой залива, вдоль реки, по набережным, улицам и крышам, мимо особняков и краснокирпичных заводских стен дул этот мокрый промозглый ветер, который, казалось, был всегда и которому, казалось, никогда не будет конца.

Но однажды утром все стало иначе. Выглянув в окно, дети увидели, что крыши домов побелели; побелели газоны и безлистные кроны деревьев, побелели стоявшие у подъезда автомобили, и на окнах засветился тонкий слой инея. За одну ночь небо поднялось и высветлилось, а утром даже засияло синевой; потом все снова потемнело, поблекло, посерело. Пошел мелкий снег, увязая в порывах ветра, снова прекратился. И все же на следующее утро шел настоящий густой снег и, падая на землю, больше не таял. Прошло несколько дней, ветер постепенно стих; а снег продолжал падать; начали появляться первые сугробы. Снег больше не кружился в ветряных порывах, не бил в лицо, но падал медленно и почти отвесно. Он падал вдоль Балтийского моря, от могилы Канта на дальнем западе до покрытых соснами и северными елями почти безлюдных скалистых островков Выборгского залива, мелкий ранний снег падал вдоль длинных песчаных пляжей и прибрежного мелководья, на крыши закрытых кафе, где еще совсем недавно сытые курортники проводили время в поисках коротких знакомств и вели многословные разговоры о преимуществах «европейского образа жизни». Снег падал на толстые крепостные стены Новгорода и Пскова,

на широкие равнины, холмы и давно уже поредевшие леса, падал на панельные городские многоэтажки, теплеющие избы и опустевшие дачи, его собирали ручьи, а Волхов нес его к белым стенам Ладоги, первого из городов русских.

Озеро снова штормило; серая ладожская вода набрасывалась на берег, как если бы она пыталась добраться до лежавших на берегу лодок; озерный ветер дул сильно, порывисто, настойчиво, холодно. От Свирской губы на западе до деревянных церквей Онеги все было покрыто толстым слоем свежего снега; было безлюдно, но светло; огромные северные избы смотрели на полупустые дороги четырехкоконными фасадами с белыми рамами, отгородившись от мира длинными рядами уходивших от дорог темных бревенчатых стен. От Белого моря до петляющих верховий Волги, от хибинских скальных цирков до Владимира на Клязьме и игрушечных церквей Ростова, от Смоленска до Великого Устюга вдруг наступила пронзительная тишина ранней зимы. Черные деревья поднимались над холмистыми сугробами; белели крыши; южнее хвойные леса постепенно сменялись лиственными, и на голых ветках лежали большие хлопья снега. Редкие трактора расчищали пустые дороги, и их снова засыпало снегом. Белоозеро наполнилось теперь уже совсем земной, видимой глазом белизной. Темно-белое небо отражалось в побелевшей воде; разделенные черной полосой леса за спиной, небо и вода смыкались впереди; прибрежный пляж был покрыт толстым снежным слоем, от которого на десяток метров мелководья тянулась полоса пятнистого неустоявшегося льда. Некоторое время они ехали вдоль озера, вдоль дороги снова заскользили избы, церкви, заснеженные деревенские причалы. Потом вернулись; выехали из городка; но через час

опять остановились. Здесь было еще более снежно и безлюдно. Облупившиеся монастырские стены, кирпичные проплешины и церковные купола отражались в подступившей белизне мира.

«Ох ты, зараза, как приморозило», — сказал один из заезжих археологов. «Ну, значит, приморозило, — ответил его товарищ равнодушно. — Незачем сюда было снова ехать, давно пора домой; и ребенок, как ты знаешь, у меня маленький». — «Сейчас бы еще покопать, — сказал еще один. — Вот она разгадка, вот она проклятая». — «Нет тут никакой разгадки, — ответил второй чуть раздраженно, но и наставительно. — И загадки тут нет. В этом мире вообще с разгадками плохо, да и с загадками не очень. Вот он такой, привыкайте». Четвертый же стоял молча, опустив плечи, слушая и почти не слыша, потом потер бороду, поправил тонкую шерстяную шапку, снял очки и зачем-то на них подул. Он смотрел на монастырскую стену, как смотрят на книгу, в которой не нашлось ответа, — сосредоточенно, раздумчиво, без недоверия, без раздражения, но и без страсти. «Это мы, наверное, еще узнаем», — устало сказал он. А бесконечное прекрасное белое небо нависало над ними так низко, что почти касалось лесных верхушек; и неожиданно стало совсем тепло.

« 2 »

Белое и черное; белый снег и белый лед Белоозера; черные избы, многие из них ветхие, точнее и не черные вовсе, но кажущиеся на белом. Так и мы склонны оценивать себя в черном и белом, думал бородатый, снова почти инстинктивно поправляя вязаную и уже не по погоде тонкую шапку, ходить по свежему снегу, топить

по-черному, проявлять чудеса милосердия, самозабвения, самопожертвования и злодейства. Но это за Вислой для любых злодейств и предательств легко находятся удобные слова, душевный покой и сытость. Мы же живем на белом, на холодном, почти что без тепла сытого довольства; поэтому и разрываем душу в раскаянии, а измучив себя, надорвавшись, снова бросаемся в воображаемые объятия тех, кто нас убивал. Нас убивали и, вероятно, еще будут убивать. И орды с запада, и орды с востока, и наши собственные чудовища. Может быть, поэтому светлые времена кажутся нам пустыми — или это мы сами делаем их пустыми? И все же, где же теперь они все, эти чудовища, и нами самими выращенные, и пришлые, — стинули и живы только нашей памятью, нашими заблуждениями и нашим самообманом? Мы же, отрывочно думал он, ищем справедливости и милосердия; их не находим; но если не найдем их мы, то не найдет и никто другой. День всех душ.

«Лермонтов считал, — как-то рассказывала детям бабушка, — что мир делится на запад, восток и север». Наверное, это так. Живущий на севере знает и запад, и восток и не верит им; живущие на западе и востоке считают, что севера не существует; им важно так думать. Наверное, заблуждаются они все, но некоторые меньше. В тот уже праздный день, когда четыре археолога смотрели на занесенный снегом раскоп, пошел мелкий теплый снег; он шел почти отвесно. А следующим вечером они были на обратном пути в Ленинград.

— Новый, чужой, утопический, вымороченный город, на большой кровью захваченной земле, — со страстной, делящейся, но и привычной, как бы выученной неприязнью говорил тот из них, которого они с чуть

снисходительной нежностью звали Сережей, и продолжал: — Нарисованный на карте нелюбящей равнодушной рукой. Нет хуже русских, чем те, что мечтают быть голландцами.

— Да нет же, — ответил ему бородатый Алексей Викторович, чуть его старше; ответил, едва ли не морщась от только что услышанной знакомой, многословной и, как ему казалось, навязчиво поверхностной риторики. — Конечно же нет. Петербург выстроен в центре нашего севера, на нашей собственной изначальной, чуть забытой земле, ненадолго у нас украденной во время той давней гражданской войны семнадцатого века. Только нам всем не только об этом, нам, наверное, еще много о чем предстоит вспомнить.

— Новая Ладога? — мысленно соглашаясь, но и чуть насмешливо переспросил третий; его звали Андрей.

Алексей Викторович кивнул.

— И первый из русских городов, — добавил он.

— Ладога не была славянским городом, — упрямо пробормотал Сережа и осторожным, но и чуть агрессивным взглядом искал поддержки у собеседников.

Безбородый Саша молча развел руками, потер щеки, потом шапку.

— Это еще здесь при чем? — спросил он, чуть подумав. — Прошлое темно, и не только из-за нашего незнания. Толпы уголовников, убивающих, режущих, грабящих, насилующих. Замки их, дружины княжеские, орды; все одна сволочь. Да и будущее, наверное, не фонтан.

— А, — обиженно ответил ему Сергей. — Что мы тебе, славяне.

Андрей коротко посмотрел на него, на этот раз с изумлением, и неожиданная горечь как бы совсем чужой

статичной картинкой увиденного будущего на секунду вспыхнула в его взгляде. От неловкости все замолчали.

— Ты бы постыдился, — после короткой паузы сказал Сереже Валера. — Позорище. И вообще развели тут схоластику от науки. Окно из Европы, сердце севера, мы славяне; не слышали бы мои замерзшие уши.

Остановился, потом продолжил:

— Потому что надо работать. А мы бездельники, и все. Как только перестаем быть учеными, так и становимся болтунами. Нам просто не хватило времени. Покопать бы там еще. Рядом же она, тайна. Знаете об этом, поэтому и собачитесь, поэтому и землю делите. Доделитесь. Делите между собой, а доделят чужие. Чужие свои и чужие чужие. Будете потом локти кусать. Если ума хватит.

Андрей кивнул, то ли с согласием, то ли для того, чтобы прервать спор, все больше казавшийся ему отвратительным.

— Простите, ребята, — сказал Сергей, подумав, но и как-то нехотя. — Занесло меня куда-то не туда.

« 3 »

Снег все еще шел, шел по всей бесконечной лесной перерезанной реками равнине, от Балтийского моря до Уральских гор, вдоль широких рек, текущих на юг; эти реки собирались в великую реку, и на далеком юге было так тепло, что снег таял, таял еще падая, и стекал в дальнее невидимое море. Они смотрели на кружащийся падающий снег сквозь двойные рамы, сквозь стекла, покрытые тонкой, почти прозрачной изморозью, густеющей по оконным углам. Арина сидела на широком подоконнике, полуспиной к окну, изогнувшись, заглядывая в светлое серое небо, оборачиваясь

назад в комнату, а ее брат стоял рядом, прижав колени к батарее парового отопления, почти касаясь лицом стекла, погрузившись взглядом в широкий открытый прямоугольник двора, высокое каре новостроек, ряды деревьев внизу под ногами.

— Когда вернется папа? — спросили они тогда бабушку, и Арина, как во сне, потом много лет, раз за разом, вспоминала ее посветлевшее лицо.

— Уже скоро, — ответила бабушка неожиданно строго. — Но вы не должны спрашивать об этом каждый час. А завтра мы еще поедем на дачу.

— Почему он вообще уехал? — продолжала настаивать Арина. — Разве нам плохо здесь вместе?

— Потому что человек не хомяк и он не может жить в клетке или в норе, — ответила бабушка, а брат повернулся к ней лицом и спиной к окну. — И потому, — продолжала бабушка, — что человек жив делом, которое делает, и не может жить без него.

— Но ведь он мог бы делать свое дело дома, — рассудительно ответил брат, и Арине показалось, что он прав.

— А еще, наверное, — добавила бабушка, немного подумав и вдруг как-то неловко и устало улыбнувшись, — потому, что вы тоже здесь родились и уже знаете, как весной трещит лед и уплывает в холодное море. Еще немного — и вы тоже станете чувствовать за собой землю, у которой нет края, и будете знать, что человек жив своим делом и дорогой.

— Мы тоже будем уезжать и возвращаться? — чуть удивленно спросила Арина, безо всякой причины мысленно переходя на сторону бабушки.

— Возможно, — ответила бабушка. — А может быть, и нет. Но вы всегда будете знать, что живете между морем

и дорогой. Человек не может жить клеткой, едой и размножением в клетке.

— А хомяк? — спросил брат. — Хомяк точно может? Почему мама не хочет купить нам хомяка?

— Как так получается, что рождаются на севере? — спросила Арина. — Я могла бы родиться иначе?

— Так по-русски не говорят, — сказала бабушка. — Хотя да, конечно. Я, как ты говоришь, родилась иначе. Наверное, в чем-то мы можем выбирать. Хотя вы, скорее всего, уже не сможете выбрать.

— А папа? — спросила Арина. — Папа сделал, он сделал свое дело? Ради которого поехал по этой дороге? Там за окном, за снегом, ты там была?

Бабушка снова посмотрела на нее, сначала молча.

— Думаю, что да, — ответила она. — Хотя, наверное, не совсем. Когда он звонил, то сказал, что они нашли нечто удивительное. Я спросила что, а он засмеялся.

— Что же это было? — спросил брат.

Бабушка снова промолчала и неожиданно включила радио. По радио говорил голос жесткий, отчетливый, неприятный; но он говорил так, как говорили у них, ясно, проговаривая каждую букву, вычерчивая каждое «ч», как будто говорил и не с людьми вовсе, а с самим временем, которому нет дела до мелких человеческих слабостей, говорил не так светло, чуть напевно и чуть суматошно, как добрые московские бабушки, и совсем уж не так, горланя, цокая и крича, как говорили на платформах торговли яблоками по дороге на ту самую дальнюю, лишь однажды и бывшую, дачу на берегу теплого моря. И все же голос говорил непонятно, как бы эхом повторяя странные, захватывающие, пугающие слова: Луанг-Прабанг, Вьентьян, Сайгон.